

в настоящее время не только позволяет быть непригодным, но непригодному дает премию в виде шанса быть пристроенным к лучшему месту по увольнении за непригодностью, — шанс, которого не имеет годный по службе в том случае, когда он по какой-либо причине по уходе с одной должности ищет другой, в виде повышения. Ясно, что ничто так не роняет нравственный уровень государственной службы, как именно это.

## Нигилизм — порождение либерально-чиновничьего Петербурга

### I. Размышления

Странное время — нынешнее время. Скверное, зловещее время. Чувствуешь, сознаешь, знаешь, что ни мысль, ни сердце ничего не могут, и основные силы духовного мира, обреченные роком на бессилие, должны как бродяги прятаться от дневного света, чтобы не являться нарушителями *порядка* наших духовных отправлений!

Порядка!! Какая горькая ирония!

Никогда еще в виде *порядка вещей* духовный беспорядок в смысле безначалия, безверия, бессмыслия не доходил до нынешнего состояния, состояния спокойного царения или, вернее, успокоенного царения.

А все же невозможно не говорить.

Нельзя оставить поле русской мысли в распоряжении одних фельетонистов петербургской печати — пока есть капля крови в жилах, нельзя мириться с таким ужасным растлением духовного мира в виде нормального состояния.

Это-то и понуждает меня писать, хотя — признаюсь откровенно, — с полной уверенностью в бесполезности для настоящего каждого из имеющего быть сказанным слова: может быть на одно или два лица среди 80 миллионов эти искрение слова подействуют, а если и на них не подействуют, то все же писать должно, хотя для того, чтобы историк будущего мог хоть один голос протеста против безначалия нынешнего времени, возведенного в принцип, найти среди петербургской интеллигенции.

Я сказал выше об *успокоенном царении духовного растления* в нашем обществе!

Да, именно так.

Месяца два назад мы всполошились, испугались, а теперь успокоились.

Назначили генерал-губернаторов, усилили число полицейских, придали к полиции дворников, запретили покупать револьверы без особого разрешения, и... Россия спасена, порядок вернулся, золотой век настал... Все возвратилось к обыденной жизни. Все умы принялись за успокоенную работу... Какая ужасная насмешка! Какой страшный признак времени!

Насчет последнего покушения не могло и не может быть двух мнений. Весь образованный христианский мир содрогнулся от омерзения и ужаса... Следовательно, не этому событию посвящать длинные рассуждения, не это событие наследовать как знамение времени.

Но вот что несравненно страшнее. Мы испугались только *этого* события, мы только, так сказать, *струсили*, и больше ничего, ровно ничего.

Едва нам показали генерала Гурко с казаками<sup>1</sup>, трусость петербургского общества за свои судьбы ослабела; мы перестали дрожать, как дрожат псы под палкой, и снова заговорили обо всем, точно, в самом деле, прогресс наш действителен, и все духовное у нас в порядке.

Вот что ужасно!

Нас испугали выстрелы, точно для России и ее царя нет другой силы, кроме нашей, для охраны и ведения.

Но состояние общества, приведшее последовательно к выстрелам, состояние до выстрела, состояние после выстрела, — состояние хроническое, гнетущее, в котором никто не знает, что назвать добром, что злом, что правдой, что ложью, в котором никто не смеет говорить во имя Бога и Его Церкви, в котором целые поколения изуродовались, выродились духовно и столько жертв принесли на погибель, — это состояние общества нас нисколько не испугало и не пугает.

Наша петербургская печать особенно поразительна в своей нынешней роли.

Вместе с полицией она ищет заговорщиков и преступников, и если найдет нескольких, с напускной яростью набрасывается на них, клеймит их разными названиями и, исполнив свой дневной урок, возвращается к обыденному прославлению себя, своего учительства, своих подвигов, культуры, либерализма и прогресса,

призванья общества, его достоинств, его степени зрелости, его политических потребностей.

Соловьеву казнь<sup>2</sup>, а обществу, нам, светочам России, — нам, вождам Русского народа, — расширение свободы и знак отличия за примерную службу прогрессу и отечеству...

Вот что серьезно, как знамение времени! Вот что доказывает, как велика и близка опасность, угрожающая России.

Заграничные публицисты и иностранцы в Петербурге забили в набат насчет опасности, угрожающей России не столько от выстрелов и заговора, сколько от духовного хаоса и духовного растрепывания общества, от царства *нигилизма*, поразившего их в эти острые минуты своей рельефностью.

Что же сделали наши светочи прогресса, наши петербургские газеты с их фельетонистами, самозванно облекшими себя в полномочия руководителей русской мысли? Они с яростью накинулись на эту заграничную печать, а французскую и немецкую газеты, выступившие в Петербурге с обвинениями вескими и серьезными против легкомыслия петербургской печати, они захотели казнить чуть ли не наравне с Дубровиным, причем, разумеется, ярко намалевали картину своей невинности и своих заслуг перед Россией.

Таким образом, петербургская печать даже после 2 апреля<sup>3</sup> успела зажать рот всем обвинителям, всем осмелившимся испугаться царения нигилизма в петербургской печати и петербургском обществе.

И общество успокоилось.

Панургово стадо облизало себе губы, кивнуло головами и поблагодарило петербургскую печать за то, что она достойно отгрызлась от нападков и набата, появившихся в русской и иностранной печати, и вернуло себя и общество к благодушному самовозвеличению и самовосхвалению.

Вот что серьезно.

Нигилизм, поголовно заразивши нашу духовную, высшую петербургскую Россию и приведший к выстрелам и к поджогам спокойнее, чем когда-либо, торжественно оправданный, воцарился вновь на своем отвратительном и омерзительном престоле.

Да, да простят нам это слово, — но пусть хоть для истории оно будет сказано, — в Петербурге только между немцами и французами нашлись честные русские, осмелившиеся сказать хоть частичку правды в лицо русскому обществу.

И, увы, в том же Петербурге русская печать, набросившаяся с арапниками на этих людей, ответив им бранью на истину и зажавши рты всем, хотевшим вину преступлений прежде всего возложить на главных виновных, на нас, на общество, сделала нехорошее дело и к ряду своих подвигов в области дурачения русского общества прибавила еще одно чуть ли не худшее из всех дел, доселе совершенных ею.

Что в течение пяти лет, пока я писал в «Гражданин», та же печать из моего журнала непрерывно и ежедневно делала мишень самых грубых, злых и недобросовестных нападений на то, что я изо дня в день указывал на ложь в петербургской печати, на ложь в петербургском обществе и предсказывал все, что совершилось, увы, слишком явно несколько лет после, — то было понятно и до известной степени простительно. Такая избалованная невежественной публикой печать не могла мириться с вторжением в ее царство человека, пишущего не за деньги, а по убеждениям, признающего себя вполне самостоятельным и не гнущего колени перед богами либерализма, ни перед популярностью, ни перед князьями мира сего... Но чтобы в такую драматическую, торжественную и трудную историческую минуту, как та, которая нами была пережита в апреле, и которая требовала, так сказать, самого горячего и напряженного патриотизма, — не для злобы против преступника — она не могла не быть — но для измерения всей глубины пропасти, над которой мы стоим, и которую сами себе устроили своими ложными увлечениями; чтобы в такую минуту, говорю я, не только не сознать своих заблуждений и обязанности предостеречь общество от ложных увлечений, невольно зарождающих хаос, но даже нападать на дерзающих говорить правду, зажимать им рот и снова уверять общество в его непогрешимости и в том, что ложь есть правда, а правда — ложь, — для такого дела надо или быть глубоко закаленным в желании зла для зла, лжи для лжи, или быть до безобразия легкомысленным.

И что же? Толки о пропасти, стоящей перед нами, умолкли, умолкли скоро, как по щучьему велению, и чуть ли не три дня спустя после катастрофы мы все позабыли, опять предались злобе дня, как будто ни в чем не бывало. А когда начались пожары — несомненно производимые поджигателями — петербургская печать громко стала обвинять и осмеивать кого бы вы думали?.. Тех, которые видят в этих пожарах поджоги!

Но какая же эта злоба дня?

Побольше прав, больше свободы, расширения политических полномочий общества, — вот та злоба дня, вот то чудесное лечение, которое должны со дня на день из общества, коего сановники и генералы, публично аплодировали вчера оправданной Засулич, и коего низшие слои воспитали Дубровиных и Соловьевых, создать сегодня общество великих граждан и честных патриотов.

Какая насмешка, какая глубоко грустная ирония.

Впрочем, опять-таки, увы, последовательная.

Лет двадцать назад, когда мы вступили из периода тихого подпольного растлевания нашего общества в период острого его раздражения путем прокламаций и брошюр, с одной стороны, и поджогов и беспорядков в учебной области, с другой стороны, мы кричали: нужны какие-то реформы, и все пойдет как по маслу: явились реформы; но к сожалению, они нисколько не притупили ни деятельности нигилистов, ни восприимчивости общества ко всему, что имело характер острого либерального, хотя и растлевающего влияния. Пропаганда нигилизма стала расширяться. Агентами его стали являться уже целые учреждения: здесь реальная школа, там земская учительская школа, и разные педагогические общества в самом Петербурге. Печать петербургская все эти явления величала общим именем признаков прогресса, при малейшем намеке на вредное влияние того или другого учреждения закидывала грязью намекающих и брала все рассадники нигилизма под особое свое покровительство, не позволяя никому ниоткуда возбуждать даже вопроса: не слишком ли безобразно то или другое явление прогресса?

Итак, мы дожили до третьего периода, наступившего тотчас после войны. Третий период явился периодом действий в России нигилистической ассоциации. Начались регулярные издания журналов, учредились тайные сборы, тайные суды и начались выстрелы. В числе деятелей явились, как нарочно, ученики именно тех либерально-прогрессивных педагогических заведений, про вредное направление коих начали было раздаваться голоса, но которые благодаря легкомыслию, как я сказал, пользовались особенным почетом и покровительством у либеральной петербургской печати...

Тогда последовательные в своей односторонности общество и печать в Петербурге испугались как будто не своего состояния умственного, порождающего все эти явления, но выстрелов, и заговорили о необходимости усиления полицейских мер.

Усилили полицейские меры.

Общество успокоилось; умственная интеллигентная Россия выздоровела, ура, теперь надо думать о радикальном лечении всех зол в обществе, о новых либеральных реформах, — в них все спасение. Меры полицейские и два-три назначения высших административных лиц разом-де прекратили действия нигилистов. Радикальные либеральные реформы также чудесно прекратят и исцелят государственные и общественные недуги России?

Но верит ли в этом самом обществе, в этой самой печати кто-нибудь в правду этих мыслей и этих лечений, и в действительную зависимость судьбы и спасения России от той или другой реформы, — это другой вопрос.

Никто не верит, а все говорят: да, в реформах спасенье; не верят, а говорят все-таки, и говорят потому, что лгут, а лгут потому, что нужно лгать, а нужно лгать потому, что изолгались уже совсем, назад идти нельзя, от правды ушли уже слишком далеко...

И давай лгать... А что от этого вранья все усиливается сумбур и хаос мысли, усугубляется нравственное растление, сбивается с толку молодое поколение, и общественная деятельность в России страшно терпит от расшатанных и людей, и основ, — какое дело лгущим руководителям общества...

Вот это-то и составляет серьезную сторону нынешней умственной жизни петербургской России.

Но одна есть светлая сторона в этом мрачном хаосе.

Вранье либералов и выстрелы нигилистов — в Петербурге, в Киеве, или в Одессе, или в Харькове, ничего общего не имеют с Россией. Это все действия петербургской России.

А русская Россия живет поныне, как жила 30 лет назад, веруя в Бога, уважая семью, себя, свое отечество, и благоговейно чтя своего монарха Русского царя.

Петербург ведь не Россия, и Россия не Петербург!

## II. Петербург и Россия

### 1.

Да, именно, и в особенности теперь, в эпоху духовно-критическую, как та, которую мы переживаем, все яснее и осязательнее бездна, отделяющая два мира: Петербург и Россию.

Нам говорят про Харьков, Киев, Одессу, и ссылаясь на тамошние беспорядки, иностранные наблюдатели за Россией готовы признать успехи нигилистической пропаганды повсеместно охватившими Россию.

Но в этом-то и заблуждение.

Роковое совпадение центров беспорядков с центрами высшего образования еще несомненное доказывает, что вся эта нигилистическая агитация сводится к одному Петербургу. Киев, Харьков и Одесса со своими университетами суть не что иное, как отделения Петербурга, его умственного и политического мира. Стоит хоть раз пожить в этих центрах, чтобы поразиться, насколько тождественны не только студенческий и профессорский мир, но даже чиновничий, газетный, интеллигентный миры всех этих центров с петербургскими. Весь склад мыслей тождествен. Там и здесь одинаково зарождается мысль, одинаково читается книга, одинаково образуются кружки, одинаково оцениваются события, одинаково противодействуют власти, как одинаково власть противодействует агитации против нее.

Одинаковы, в особенности, незнание России и непонимание ее народа.

Оттого так нетерпеливы агитаторы и в Петербурге, и в этих центрах, оттого они так смелы, предприимчивы и решительны: ни те, ни другие не зная ни народа, ни России не видят и не могут видеть, не сознают и не могут сознавать, насколько много препятствий для осуществления их безумных, но смелых разрушительных замыслов выдвигает из себя та Россия, которую они не знают.

Незнание России — вот отличительная черта Петербурга. И увы, она, в то же время, глубокая, органическая причина — с одной стороны, постоянного разлада между так называемой русской интеллигенцией и Россией по всем вопросам, как историческим, так и текущим, — а с другой стороны, постоянных недоразумений между работающими для России и Россией, недоразумений в нормальное время хронических, а в критическое время, как нынешнее, острых.

Самым замечательным и исторически интересным тому доказательством служит Москва. В ней есть тоже так называемая русская интеллигенция, есть студенческие истории, есть обломки петербургского чиновничества, петербургской науки, петербургской печати, но в Москве никто не может, так сказать,

отговариваться неведением России. Волей-неволей, самый ярый западник, самый искренний нигилист должны признавать Россию за нечто не только существующее, но даже столь сильное, что приходится с этим «нечто сильным» считаться. Оттого в Москве бросается в глаза одна черта, отличающая всякие действия, от кого бы они не происходили, имеющие целью обособление от России, — отсутствие смелости в этих предприятиях, происходящее от невольного сознания огромности препятствий, выдвигаемых Россией, для осуществления всякого чуждого России замысла.

И это далеко не фраза.

Это важная историческая особенность, на которую, к сожалению, недостаточно обращают внимания в Петербурге представители охранительных начал.

В этом Петербурге даже более того, — эта особенность Москвы является чем-то в виде враждебного будто бы государственной власти начала.

Отсюда ряд страшно важных недоразумений, прямо влиявших на весь ход развития русской государственной жизни, недоразумений, направляющих внимание и недоверие правительства на мнимых врагов русского государственного строя (русофилы, славянофилы), гораздо более, чем на таких действительных врагов его, каковы, например, нигилисты Петербурга в широком значении этого слова.

Но если, как я сказал, Петербург с отделениями в Киеве, Харькове и Одессе ничего общего не имеет с Россией в своих нигилистических действиях, потому что во всем остальном Петербург и его конторы не имеют ничего общего с Россией в умственной жизни, и если столько от этого происходит печальных недоразумений, то, все же, остается относительно нигилизма и его действий радоваться тому, что Петербург и его отделения ничего общего не имеют с Россией.

И в этом-то все бессилие наших революционных агитаторов, наших нигилистов-прожектеров, бессилие против России, и в этом в то же время сила и прочность России. Но затем вот дело в чем. Пора и очень пора всеми силами позаботиться о том, чтобы Петербург как центр нигилизма, оставаясь вне всякого общения с Россией и находя сам в этом разобщении свою естественную слабость, не был бы как центр государственной жизни в таком же разобщении с Россией для тех сил, которые призваны бороться с врагами порядка и с деятелями разрушения.

Если разрушители и созидатели, если враги порядка, и охранители порядка будут одинаково не ведать России и в разобщении с ней, то, само собой разумеется, и разрушительные действия окажутся одинаково бессильными относительно России, как и охранительные. От незнания России может погибнуть и разрушительная сила, как может пострадать и охранительная сила.

Мне кажется, что это в высшей степени важный государственный вопрос времени.

Надо во что бы то ни стало сделать так, чтобы Петербург и его отделения оставались в разобщении с Россией только для нигилистов и врагов порядка, а никак не для представителей порядка в духовном, умственном смысле этого слова.

В теперешнее время возьмите два эти мира, Петербург и Россию.

В Петербурге самые консервативные люди, увидя признаки анархии, откуда-то получившей волю вырваться наружу, испугались и самым искренним образом ищут спасения от анархии и нигилизма ни в чем ином, как в известных назначениях на должности и в известных чисто административных мероприятиях. В Киеве, Харькове, Одессе, вы найдете то же самое в тождественных проявлениях. И в Петербурге, и в Киеве вдобавок передовые, то есть либеральные представители порядка, приняв убежденную, торжественную и таинственную физиономию, скажут вам: да, нужны такие-то политические реформы; другого средства нет... и т.д.

Затем переезжайте в любой угол России, хотя бы в 50 верстах от Петербурга.

Что вас поражает!

Вы точно вышли из какого-то бурного, шумящего моря в тихую реку, где все мирно, тихо, и покойно живет своей вседневной жизнью; где нет ни признаков взаимного непонимания, ни ненависти из-за каких-то социальных вопросов, где все спокойно, потому что сознает себя спокойной, органической силой, где все зиждется на какой-то твердой вере во что-то, и где одинаково непонятны: задача разрушения порядка или мероприятие, ей противодействующее, или та либеральная политическая реформа, про которую мечтают петербуржцы даже в иных чиновнических сферах.

Газета из Петербурга с ее дневниками происшествий в области какой-то революции или с намеками на какие-то политические либеральные потребности читается как реляция каких-то снов

или какого-то государства на луне, с полным непониманием связи всего этого мира с Россией.

Отсюда что происходит?

Россия отсутствует в нигилистической пропаганде — как чуждая ей, как непонимающая ее, и нигилистическая пропаганда в свою очередь бессильна вследствие этого.

Но, в то же время, Россия столько же отсутствует в злобе дня всей так называемой интеллигенции, словом, всего Петербурга, и пока Петербург деятельно занят и кипит борьбой с нигилизмом, Россия вне этой борьбы, и злоба дня ее совсем другая.

Ее злоба дня — мирное внутреннее развитие и ничего более...

Увы, это разобщение Петербурга с Россией не новое историческое событие.

И если ближе вникнуть в органическое развитие так называемого нигилизма в Петербурге и в его отделениях, то окажется, что именно это-то разобщение Петербурга с Россией в умственном отношении создало из Петербурга рассадник того нигилизма, с которым он теперь борется.

Нигилизм явился роковым и неизбежным детищем Петербурга от незаконного и развратного брака его с какой-то фиктивной цивилизацией Европы после развода с Россией....

## 2.

Отличительная черта Петербурга как всем слишком известно, увы, есть его духовная беспочвенность: в Петербурге — и это бросалось в глаза всем даже иностранцам, мало-мальски внимательно изучавшим его сравнительно с Россией, — вы замечаете всего резче дух безнародности, дух безыдеальности, дух безверия в самых разнообразных проявлениях.

То же самое вы замечаете в нигилизме, опустошающем теперь все искусственные центры интеллигенции в России. Его отличительная черта есть беспочвенность, то есть полное отрицание государственных, народных и церковных основ.

Взялся же он прямо и непосредственно из беспочвенности Петербургского духовного мира вообще.

Неудачи, лишения, оскорбления сделали из одного или из многих петербуржцев нигилистов и распустили их по российским центрам с той минуты, когда общественная жизнь стала вольнее в эти последние 20 лет.

Удачи, довольство, почет из других петербуржцев сделали чиновников, литераторов главами интеллигенции, словом — высшие слои петербургского общества.

Но мать у обоих одна: петербургская беспочвенная атмосфера.

Вот почему и действия обоих, несмотря на кажущуюся отдаленность одного от другого, — весьма похожи одно на другое. Нигилист с полным равнодушием к России составляет проект разрушения и стреляет в кого угодно, точно так же и с теми же чувствами и тем же духовным миром, с каким чиновник сочиняет, пишет проект учреждения или созидания.

— Ну, ты выстрелишь, а что дальше? — спрашивают у нигилиста.

— Какое мне дело, что дальше, — отвечает нигилист.

— Ну, вы напишете бумагу, а потом? — спрашивают у чиновника. — Устранится ли это неудобство, облегчится ли это или другое положение?

— Какое мне дело до ваших положений, я пишу свою бумагу и знать ничего не хочу, — отвечает чиновник.

И отвечают они одинаково потому, что у обоих нет ни чувства народности, ни чувства своего органического объединения со своим исторически живым государством, ни идеалов, наполняющих душу, ни веры живой и любвеобильной. Оба даже понять не могут, что значит любить свой народ, свое отечество. При таких условиях, какая борьба мыслима между родными братьями с целью дать последнему, петербуржцу-чиновнику или петербуржцу-интеллигенту, победить первого, то есть петербуржца-нигилиста.

Нигилиста не было на Руси до пятидесятих годов. Но были петербуржцы, не знавшие России, в тысяче видов, которых держала под строгой властью сильная дисциплина. Как только дисциплина нового порядка вещей стала слабее, из петербуржца выродился нигилист для нигилизма, то есть тот же петербуржец прежнего времени, беспочвенный, безыдеальный, безнародный, не попавший в чиновники и поневоле избравший карьерой жить во имя безверия и все отрицания, сделавшихся модными литературными предметами. А так как в связи с ослаблением дисциплины значительно увеличились средства для умственного развития в полном несоответствии с количеством мест и видов для деятельности и добывания себе насущного хлеба, то неизбежно количество нигилистов не у дел должно было увеличиваться в геометрической прогрессии.

И оно увеличилось.

К сожалению помогла этому немало наша вседневная легкая и беллетристическая печать. Вместо того, чтобы разом и в начале заградить путь развития этому безобразному зародышу беспочвенной, поверхностной полудцивилизации и направить умы к целям содержательным, плодоносным, облагораживающим дух и наполняющим сердце любовью, она окружила нигилиста ореолом типа, она дала ему место в обществе, она дала ему голос, она утвердила за ним право гражданства, и принцип развития нигилизма стал развиваться в гигантских размерах и в миллионах видов.

Явились аристократы нигилисты, явились демократы нигилисты; явились даже военные нигилисты.

Общая соединительная черта у всех этих нигилистов разных видов была, как я сказал, беспочвенность, оторванность от России, от ее идеалов, старины и преданий, и работа для какой-то современной, воздушной и бездушной либеральной России.

Все это варилось и творилось в Петербурге и посредством интеллигенции разносилось по разным центрам России. В крупных центрах, таких как Киев, Харьков и другие, нигилизм нашел себе целое отечество в местных кружках интеллигенции, в России же провинциальной, мелких центров, нигилизм заражал только отдельные лица и маленькие кружки; компактные же массы, крестьянство снизу и провинциальное общество сверху, первые активно, вторые пассивно, не давали нигилизму проникать внутрь народной жизни.

Таким-то образом с годами образовалось в Русском государстве два царства: царство нигилизма с его столицей в Петербурге, и отдельными центрами в некоторых больших городах, и агентами, разбросанными по всей России единицами или кучками, — и царство русской народности, брошенное судьбой на ее произвол.

### 3.

В эти годы пока нигилизм креп, рос и распространялся, происходило странное явление, замечательно благоприятно способствовавшее его развитию и в то же время поразительно доказавшее, что нигилизм и петербургский духовный мир есть не что иное как родные братья, то есть дети одной матери, *духовной беспочвенности*.

Самым ярким врагом нигилизма должен был быть Русский народ в духовном смысле, то есть православная Русская Церковь, составляющая одно с государством, с ее монархическими вековыми преданиями.

Не подлежало ни малейшему сомнению, что вступи эта сила с нигилизмом в борьбу, ему пришлось бы исчезнуть, и что напротив его развитие обусловлено было именно оцепенением этой силы Русского народа, с его строительными и охранительными началами.

Вот почему главная удача нигилизма могла бы заключаться в обессилении, и если можно было бы, в уничтожении хотя бы по-немногу этого громадного врага всяких разрушительных целей.

Но как могло бы сие сделаться? В этом был вопрос, и вопрос немаловажный. Разрушить силу Русского народа было немыслимо. Но был другой способ. Сила народа заключалась в его первобытности, в его, так сказать, девственности.

Посягательство на девственность русской народной стихии и опыт постепенного проституирования этой силы — вот что могло бы служить орудием в борьбе с русской народной силой при *известных условиях*.

И, к сожалению, вот это именно и помогло нигилизму в борьбе с его историческим врагом.

Но я сказал: *при известных условиях!*

Какие же это *известные условия*?

Трудно поверить, но факты налицо: подводя итог за эти минувшие годы, оказывается, что условия, при которых нигилизм мог свободно и усиленно распространяться по поверхности России и даже сметь пытаться проникать в недра народной жизни (к счастью, безуспешно), были *помощь оказанная ему Петербургом*, и помощь весьма деятельная.

Она явилась во всех слоях петербургской интеллигенции в виде повальной, лихорадочной заботы скорее, как можно скорее *образовывать Русский народ*.

Русский народ — здоровый, умный, со своей православной и политической верой, воспринятыми духовным инстинктом в душе твердо и непоколебимо, предстал перед петербургским интеллигентом *всех положений* отвратительным уродом, за переделку которого надо было взяться немедленно.

Но так как мнения, что этот народ — урод, было недостаточно для обеспечения себе успеха в распространении нигилизма при

обессилении и оцепенении Русского народа, то надо было кроме образа его уродливости придумать и другой образ, более способный вызвать необходимость к парализовыванию Русского народа.

Способ этот не замедлил явиться. Русский народ, русскую народность в этом первобытном, девственном виде поспешили представить в образе пугала и существа крайне опасного для каких-то государственных условий самосохранения.

Таким образом, поспешная работа к prostituiрованию Русского народа — в руку нигилизму — посредством торопливого и кое-как вводимого народного образования, *исключительно* реального, закипела в Петербурге под влиянием двух представлений: представления об уродливости Русского народа и представления об опасности от русской народности.

И вот пока потоками стали литься на России всевозможные книги для народного образования в тысячах видов, при одновременном действии на развитые, полуразвитые и недоразвитые массы интеллигенции и полуинтеллигенции всей литературы, все в одном и том же направлении, исключительно безыдеальном, пока в то же время кому угодно доставлялись широкое поле и неограниченное право развивать и образовывать все сословия и все возрасты все в том же безыдеальном петербургском направлении, одновременно, шаг за шагом, капля за каплей, входила и всасывалась в петербургский духовный мир пущенная в ход теория об опасности русской народности в ее первобытном, исторически девственном виде, — для русской государственной силы, для преследования задач европейской цивилизации, и о необходимости этой стихийной силе во всех ее проявлениях противодействовать.

А так как главное проявление этой народной силы была Церковь, Православие, то, прежде всего, все совокупные усилия Петербурга направились на незаметное с первого взгляда, но постепенное парализовывание всей области жизни нашей Церкви — всеми средствами, начиная с изгнания *религии* во всех книжках и кончая обречением на безмолвие и бессилие власти Церкви.

Никто этому не поверит, но возьмите за эти годы любую из десятков тысяч книг, написанных с целью народного образования (за исключением лишь специально духовного содержания), — вы не только не найдете в них нигде слов «Православная Церковь», но мало этого, вы не найдете в них нигде прямого и простого указания на христианские заповеди. На каждой странице любой книги вы найдете опыт ознакомления с одной из мыслей реаль-

ного мира или с одним из тысячей фактов этого мира, но мысли *не укради, не убей* вы нигде не найдете. Затем потрудитесь за эти годы день за днем перебрать все наши петербургские по-временные издания.

Ни на одном листе, ни на одной странице вы не найдете осуждения преступления, теплого слова, упрека или предостережения во имя Евангелия, — словом, ни одного звука из положительного не только христианского, но нравственного мира.

Нравственность, с целым ее обширным кодексом заповедей и оттенков, заповедей и обязанностей — научающая повиновению, любви, самосохранению, — изгнана была из жизни так называемой светской в области печати всех видов, и сдана как нечто специальное в ведение духовного ведомства, предварительно объявленного невежественным, бесполезным, смешным и даже опасным, как представитель гасительного и ретроградного направления.

Вот что помогло нигилизму, и вот что ему в пользу самым легкомысленным образом сделал Петербург для усиления нигилизма, и обессиления русской народной охранительной силы.

Сотни тысяч людей из Петербурга получили право взяться, как им угодно, за *образование* Русского народа, и в то же время из того же Петербурга медленно, но верно, едва заметными нитями стала завязываться и опутываться русская народная сила в его главном хранилище — Церкви, — опутываться, завязываться до той поры, пока в прекрасный день оказалось, что ничем не обеспеченных, почти голодных учителей народа в духе реализма и антирусском, то есть антиправославном, слишком много, а священников с обеспеченным куском земли и хлеба — слишком мало.

Легко понять, как все это было в руку нигилистам, пропагандистам своего безусловно разрушительного учения.

Без малейшего с их стороны труда все силы петербургского мира без исключения, и силы громадные, напрягались для того, чтобы образовывать народ вне его Церкви и вне его народной стихии: все ему чужие взялись за это дело, и все ему чужое составило сущность этого дела. Таким образом, из конца в конец России год за годом шло деятельное протитуирование русской народности, и учителя нигилизма ждали нетерпеливо результатов этой для них столь неожиданной удачи во всем.

## 4.

Но тут-то и ждало их горькое разочарование.

Проституция скользнула лишь на поверхности народа, и народа не коснулась. Ежедневно петербургская интеллигенция кричала о том, как медленно подвигается вперед народное образование, и в особенности *народное развитие*; а рядом с этими там и сям начали сперва глухо, а потом громче проникать слухи о народной расправе с *учителями*, пришедшими грубому мужику не по вкусу. Тогда создалось в Петербурге слово чернь, изобретенное интеллигенцией для клеймения словом того народа, который, не находя нигде и ни в ком помощи и руководства, должен был прибегнуть к собственным кулакам, чтобы отвязываться от чересчур усердных пропагандистов реального образования. Чернью являлся Русский народ, во имя Православия остающийся верным заветам и преданиям своего древнего духовного мира, а народом удостоила называть петербургская интеллигенция лишь какую-то фиктивную Россию, будто жаждущую *развития* и *еще чего-то*, не договариваемого...

Но зато, если этот сильный, глупый и грубый *Русский народ*, эта глупая чернь упорно отбивалась от усилий стольких учителей ее проституировать, умственная эта проституция шла необыкновенно успешно во всех сферах не народных, где известная степень развития при таком полном параличе, наложенном на Церковь и религию, как образовательные силы, служила удобной школой для восприятия нигилизма.

Все интеллигентное общество русское довольно наглядно, в особенности в Петербурге, разделялось на три весьма видные сословия: сословие нигилистов, то есть воспринявших нигилизм в душу, второе сословие — масса, — малодушные, трусливые, которые не только не посмели настолько предъявить самостоятельности, чтобы воспротивиться давлению нигилизма, но даже негласно, так сказать, отреклись от всех начал, основ, идеалов русской народности в семейной и общественной жизни, и дали всему духовному миру плыть по течению в виде какого-то им самим непонятого сумбура, и, наконец, третье сословие, тоже меньшинство, как и первое, — одинаково равнодушные и к нигилизму, и к старым идеалам, хотя, в то же время, сберегшие кое-какое общение с русскою народностью.

Но всего этого для прогрессистов и нигилистов было недостаточно. Появление массы нигилистов из мира, где при всем желании они никакого видного переворота не могли производить, а наполняли только собой известное пространство и это пространство оглашали то жалобами на свое неудовлетворенное состояние, то воплями против не поддающегося их влиянию *народа*, раздражало только пропагандистов нигилизма, и раздражение усиливало их нетерпение.

Тогда-то начался период острого проявления в России всего того, что так долго и так удачно производилось под прикрытием прогресса, и дружных проповедей на все либеральные темы Петербургом. Нигилисты почувствовали себя самостоятельной силой, способной вступить в борьбу, уже не с несчастной, обессиленной русской народностью, а с порядком вещей.

Для такой борьбы, понятно, они не могли уже рассчитывать ни на печать Петербурга, ни на общество Петербурга в смысле прямых и непосредственных союзников. Открытый бой с *порядком*, с пистолетами и кинжалами в руках, с прокламациями и угрозами, исходившими из тайных печатень, разом отсекая от заговорщиков их вчерашних многочисленных союзников, и оставляя их одних в поле.

Но одни ли они были и не оказались ли и тут в строгом смысле у них союзники? Общество в Петербурге и в его отделениях, которые я охарактеризовал выше, не было ли оно настолько нигилизировано и протитуировано духовно нигилистами: печать, не была ли она настолько уже нафанатизирована пристрастием ко всему либеральному и отвращением ко всему, что могло быть похоже на консерватизм, что даже и в тот период, когда нигилисты пытались действовать, то есть разрушать, они могли рассчитывать на бессознательную помощь со стороны Петербурга?

Ведь недаром же, могли они себе сказать, так долго и так упорно изгонялось из либеральной печати порицание зла с точки зрения нравственности и религии, так что нигилисты-деятели имели полную возможность с одной стороны, располагать множеством жертв нигилистической доктрины, а с другой стороны, рассчитывать на дряблое нравственное состояние общества, неспособного от двух, трех преступлений содрогнуться, опомниться и броситься в реакцию.

Первый опыт нигилизма в действии не только оправдал ожидания нигилистов, но превзошел их ожидания.

Засулич, после выстрела в петербургского градоначальника почти смертельно его ранившая, явилась не только в ореоле оправданной подсудимой, но в сиянии святой, высоко симпатичной подвижницы, которой зарукоплексали в зале суда саванники, которую прославила петербургская печать и которая своим подвигом ввела новое начало в нашу государственную жизнь, начало, освятившее за убийцей право рассчитывать на оправдание суда, когда убийство должностного лица является возмездием за проступки по службе этого лица. Вся Европа и даже Америка вздрогнули от ужаса, при виде этого нового начала, вводимого в государственную жизнь обществом Петербурга и его печатью, Россия содрогнулась еще сильнее, но Петербург, бесконечно милостивый к Засулич и ее сподвижникам, явился неумолимым к тем русским, к той России, которая дерзнула возмутиться таким оскорблением человеческого и божественного правосудия.

С той поры начались преступления в том же духе, по той же программе, и по тем же причинам.

Совершалось преступление, — петербургская печать сообщала факт, посвящала самому убийству известную статью, где объявлялось негодование к убийству и к убийце, и тут же с лихорадочной торопливостью и горячей страстностью предостерегалось общество от возможности почувствовать ввиду этих преступлений страх за свое умственное и нравственное состояние и склонность опомниться и отрезвиться посредством внутренней реакции. Этой-то внутренней реакции петербургская печать боялась сильнее преступлений и заговорщиков, и всякий раз, когда раздавался выстрел, она усердно и неумолимо говорила обществу: убийцей возмущайся, но не смей от частного, то есть от убийцы, заключать к общему, то есть к состоянию всего общества и задавать вопрос: не мы ли, общество, виноваты в ужасной распушенности, приводящей к преступлениям более, чем сами преступники; не либерализм ли, односторонне понятый, вызывает такие уродливые явления и т. д.

И вот общество, послушное петербургской печати, не смеет возмущаться общим нравственным состоянием, но ограничивается одним лишь возмущением в частности преступлением.

## 5.

Наконец, совершается роковое 2 апреля. Бог один явился охраной Своего Помазанника. Россия простонала от ужаса.

Общество и печать Петербурга искренно ужаснулись.

Но, увы, не ту дорогу приняли чувства ужаса.

Они излились на преступника, на эту нафанатизированную и давно мертвую жертву нигилизма, они излились в виде страха за себя, они излились в виде забот о временной безопасности.

Но... никто не дерзнул не только сказать громко, но даже задать себе вопрос: убийцы и преступники не мы ли, петербургское общество, родители нигилизма—не мы ли, петербургское общество; никто не смел даже подумать: не нужно ли нам для спасения,—кроме казаков и полиции, кроме генерала Гурко для Петербурга и ставшего более консерватором фельетониста Суворина для печати—что-нибудь серьезнее, не нужен ли нам нравственный, душевный переворот и обращение к Богу, Его Церкви, к народу и к его заветам любви?

Нет, все осталось по-прежнему и по-старому; Петербург заботливо охранил одно лишь: свое право быть либеральным даже и в эту минуту, когда вся Россия встрепенулась от омерзения к нигилизму и от страха за своего Государя, и вот как только немецкая и французская печать в Петербурге и русская в Москве подняли роковой вопрос о причинах этих преступлений и немножко коснулись влияния петербургской печати на растление общества, — Петербург и его печать вознегодовали, и по всей линии раздался ответный выстрел, полный брани и ненависти к возбудившим этот вопрос, точь -в-точь как 10 лет назад, и точно дело шло опять только о том, как бы сказать князю Мещерскому и его «Гражданину», что он юродивый, идиот, паяц и т.п.

Перестрелка кончилась, все затихло, убийц и нигилистов давно забыли, либерализм и петербургское самодержавие либерализма и прогресса спасены. А когда заговаривают о будущем, вам говорят: полиция усилена, следствие производится, заговор социалистов постепенно раскрывается. Скоро, скоро настанет золотой век.

И опять, как ни в чем не бывало, пишутся ругательные статьи на Каткова, пишутся статьи о недостаточности народных школ, о притеснениях для свободного обучения народа, опять разжигается вопрос о годности той или другой учебной системы, — словом, как я сказал: как будто ни в чем не бывало.

И даже более того. Либералы подчас шагают еще дальше. Так, например, одна из петербургских газет, снисходительно и благосклонно сделавшая несколько уступок консерватизму и признающая необходимость детям учиться, а России быть *aprestout* народом, — недавно пустила статью, где проповедуется о необходимости похерить совсем духовные училища, и священников готовить в земских учительских семинариях, то есть в тех самых семинариях, из которых выходили в нескольких губерниях еще весьма недавно самые нафанатизированные нигилисты...

Таков Петербург.

Он видно неисправим.

А исправиться ему надо.

Иначе будет беда и ему, и России.

Надо, наконец, объяснить недоразумение.

Россия хочет одного.

Петербург хочет другого.

Оба эти желания крайне противоположны, одно другому. Одному из них следует потому самому уступить. Думаю, что уступить надо Петербургу, ибо Петербург есть частица России, и весьма маленькая, даже в том случае, если допустить, что Петербург есть резервуар всей русской интеллигенции, из которого ежегодно снабжаются частицами интеллигенции вся Россия.

Оказывается ведь, что кроме петербургской интеллигенции, присвоившей себе исключительно монополию быть русской интеллигенцией, есть еще другая интеллигенция, всероссийская; это весь народ, и массы одинаковых русских людей всех сословий, — не желающих знать Петербурга с лжерусской интеллигенцией.

Вот о чем подумать надо.

### III. Нигилизм

Немало лиц в Петербурге, говоря о подпольной пропаганде злоумышленников, производящейся в России, называют ее социалистической и даже ищут какой-то связи с движениями социалистов на Западе.

Прежде всего, не следует оставлять без внимания эту ошибку одних и обман других.

Если признать все дело политических беспорядков в России — явлениями социализма, тогда масса прямых виновников этой

политической заразы ускользает из-под ответственности и смело может сказать: это не нигилизм, а социализм.

Нет, тут социализм ровно ни при чем, и Запад, то есть Европа, на этот раз не может приписать себе честь еще одной дружеской услуги нашему цивилизационному быту.

Все, что в эти двадцать лет творилось подпольного, все, что привело к выстрелам и прокламациям, — это чистейший нигилизм, тот же самый нигилизм, который в 1861 г. явился в виде поджогов в Петербурге, в 1862 г. в виде поджогов в России, в 1863-й перекинулся в виде союзника к польскому жонду<sup>4</sup> и т. д. Никакая другая сила не посвящает себя в России задаче разрушать, без цели что бы то ни было созидать.

Эта программа от А до Z есть программа нигилизма, самого доморощенного, самого петербургского — ни в чем, ни в одной подробности, ни на минуту нельзя в этом сомневаться.

Следовательно, ответственность за все духовные беспорядки остается на нас, на обществе, всецело.

Программа эта донельзя проста, и в этом, то есть в том, что она программа нигилизма, вся ее обаятельная и таинственная сила.

Она под стать всякому возрасту, всякому сословию, всякой степени умственного неразвития и в особенности всякому положению, ибо она требует одного: уничтожения всего, что есть и что было — без заботы о том, что будет.

Она не нуждается ни в уме и образовании коноводов, ни в увлечениях и фанатизме последователей.

Напротив, чем более в ряды нигилизма вступает духовно неспособных, и, так сказать, мертвых духом, тем нигилизм становится сильнее, тем менее ему шансов видеть отдельных лиц, собственным рассуждением или сторонним влиянием проходящих к сознанию своего заблуждения и возвращающихся в общество здравых и крепких духом. Равнодушие к собственной участи, к оценке каких бы то ни было обязанностей и осмысленных отношений к государственному, общественному и семейному быту и, наконец, полнейшее безучастие к собственной жизни, — таковы суть отличительные черты громадной силы нигилизма в России, ставшей политической и двигающейся одним только двигателем — нетерпимостью ко всему, что не есть нигилизм.

Эта нетерпимость в свою очередь влечет к другому побуждению или чувству: к совращению всякого к нигилизму.

Подобно кастратам, оскопившим себя или оскопленным, которые с минуты оскопления проникнуты одной заботой, не дающей им покоя, — всех уподобить себе, из нетерпимости к зрелищу неоскопленного человека, нигилисты постоянно нуждаются в одном только, — в совращении всякого, с кем они сталкиваются. Им это нужно, как нужен воздух для земного животного и вода для рыбы.

Отсюда сила распространения нигилизма.

Все это, к сожалению, слишком несомненно, и вот эта-то сила в настоящее время представляет нечто вроде большой злокачественной железы, пустившей глубокие корни в поверхности организма Русского государства и заразившей весь организм бессилием, малокровием и худосочием.

Резать и вырезать эту опухоль невозможно без опасности для целого организма.

А надо лечить весь организм, возбуждать его жизненные силы и сделать этот организм способным к тому, чтобы железа эта разошлась сама собой, и чтобы все дурные его соки здоровый организм мог уничтожить посредством сильного процесса всасыванья.

Но для этого, то есть для правильного лечения испортившегося организма, надо, прежде всего, самым добросовестным образом исследовать самую болезнь. Болезнь эту мы определили. Она есть *нигилизм*, и ничего другого, кроме нигилизма, в себя не заключает.

Но этого мало.

Надо тщательно исследовать вопрос о *нигилизме*. Другими словами, надо заняться вопросом об ответственности нигилистов перед судом истории, рано или поздно имеющем наступить.

Мы видели и пережили ряд преступлений, ознаменовавших острый период нигилизма в России, наступивший после тихого периода царения нигилизма.

В высшей степени важен, следовательно, вопрос: кто же эти преступники, кто же эти нигилисты; быть может, на это мне скажут: вопрос такой решить — дело полиции и суда.

Нет, в том-то и дело, что нет. Полиции и суда дело заключается в судебном расследовании и раскрытии заговора нигилизма, то есть той горсти людей, которые совершают и совершали уголовные преступления.

И она ли, эта горсть, несет всю тяжесть ответственности перед судом истории — вот в чем вопрос.

Нет ли более ответственных и более виновных?

Не суть ли эти отвечающие перед судом уголовным нигилисты козлица отпущения, и несчастные в полном смысле слова — спасающие от ответственности сто раз более виновных?

Да, горсть эта — капля воды в море нигилизма в России. Заниматься этой горстью не наше дело.

Наше же дело заняться этим морем нигилизма, этой массой нигилистов всех видов, на долю которых выпало не только не быть в роли уголовных преступников, но быть представителям высших слоев общества, носить маску руководителей этого общества, отдыхая в неге и покое, быть нигилистом от избытка материального пресыщения, от недостатка духовного образования, от презрения к духовному миру обязанностей...

Даже более того; я посмею сказать, что опасность для России не от этой горсти преступников и заговорщиков, а от тысяч нигилистов, составляющих общество и совершающих преступления только перед невидимым судом своего государства, его истории и судом Божиим.

Нет сомнения, что со временем историк наших дней, разбирая наши дела, бросит нам в лицо суровое и жесткое обвинение в ряде гнусных и подлых дел, наполняющих страницы нашей эпохи прогресса и либерализма, — дел, которыми мы в ослеплении своем гордимся, и из-за которых мы величаем себя громким именем славных общественных деятелей.

Но до этого момента суда истории над нами и над нашими делами попытаемся сами бросить хотя подобие беспристрастного взгляда на наше, полное обмана и обольщений, время и оценить наше общество по мере его действительных заслуг к государству.

Это общество, этот интеллигентный Петербург, правящий умами России и изъясняющий ей значение прогресса, сдал виновных в нигилизме суду государственному и успокоенный этим, как ни в чем не бывало, умывая себе руки, продолжает жить и стремиться к прогрессу как прежде.

С этим не мирится возмущенная совесть, ибо, повторяем, не он ли, этот интеллигентный Петербург, не он ли, предписывающий России законы прогресса и развития, не он ли — главный виновник всех бедствий, пережитых Россией, не он ли преступник, стрелявший в высших государственных лиц, не он ли тот, кто под именем Соловьева осмелился стрелять в Государя?

Как видите, нельзя прямее и более голо ставить вопрос.

И я его ставлю, и прямо говорю, не боясь ни на йоту уклониться от истины: преступник и святотат, преступник стольких лет, святотат вчерашнего дня, виновник стольких бед для России — это он, Петербург, петербургское общество, петербургская интеллигенция.

Настоящий и главный нигилист это он, сто тысяч раз преступнее и сто тысяч раз гнуснее всех казенных и судимых преступников, ибо те приняли и примут в ожидании Божьего суда казнь человеческого суда, а мы, настоящие и главные преступники, мы, носители имени образованного общества, учителей народа, руководителей общественного мнения, мы воспитали из младенцев преступников, мы их подло пустили на поприще преступления, мы втихомолку им сочувствовали, пока это было безопасно, а когда стало опасно сочувствовать, когда наши ученики и дети совершили преступления, из ряда выходящие, мы спрятались, мы громко отреклись от них и воскликнули: вот, вот эти темные заговорщики, эти гнусные преступники, берите, казните их, мы преданные, мы верные слуги государству, вы видите, в какой мы приходим ужас, когда Засулич стреляла в петербургского градоначальника из мести за такого-то и суд ее оправдывал, вы видели, мы аплодировали и ей, и суду, ибо это было торжеством прогресса, но теперь, когда иное преступление сделано, нет, мы негодуем, вы видите, у нас пена у рта, берите, казните мерзавцев. Вот что мы говорили месяц назад, и говорили, очень хорошо сознавая, что настоящие преступники это мы, петербургское общество, десятки лет под именем прогресса вводящее нигилизм в плоть и кровь всей духовной жизни мыслящей России и воспитавшее целые поколения умственных бродяг, алчущих и жаждущих хотя бы капли духовной пищи, хотя бы атом истины и нравственности.

Все это для нашей притупившейся в неге самообольщения и самообожания души кажется беспредельным преувеличением, от которого ни один, а тысячи присяжных писак петербургской печати несколькими штрихами пера и в двух-трех фельетонах возьмутся омыть петербургское общество, чтобы снова в него вселить спокойствие ничем не возмущаемой совести.

Но разве для того возбуждается столь роковой и глубоко серьезный вопрос, чтобы вести спор из-за слов и задавать схоластические или фельетонные темы для нашей вседневной грошовой печати?

Пусть сто тысяч первый раз она закидает нас грязью всевозможных ругательству, пусть ругает нас, кто этого захочет, пусть приводят эти ругательства к результатам, пусть мнимое торжество посредством либерально-трескучих фраз и обманной подтасовки приводимых против нас фактов перейдет на сторону петербургских интеллигентов и либералов.

Но разве от этого положение русской жизни изменится, разве от этого истина сделается ложью, а ложь — истиной, разве от этого спасется русская государственная жизнь от кризиса, стоящего перед ней в виде угрожающей пропасти, разве, наконец, от этого критическое состояние для русского государства будет менее критическим?

Само собой разумеется, что говорящего правду можно закидать бранью, сделать смешным, можно заставить замолчать, но разве от этого сама правда перестанет существовать?

Да к тому же еще вопрос: выгоднее ли обществу царство лжи вместо царства правды.

Мы говорим без ненависти, говорим с любовью к своему отечеству и именем этой любви заклинаяем всякого, кто любит свое государство, добросовестно проверить: верны ли приводимые нами доказательства.

Кто знает, быть может, некоторые согласятся с нами, опомнятся и явятся если не в печати, то в жизни бойцами-сотрудниками за здоровое и честное понимание нашего времени и наших патриотических обязанностей.

Итак, я приступаю к своей теме.

Вот она: повторяю.

Главные нигилисты и главные политические преступники относительно времени, это мы, петербургское общество.

Мы виновнее и преступнее Дубровиных, Каракозовых и Соловьевых.

Спасение России зависит исключительно от сознания нами вышеизложенных положений. Вот, что я хочу доказывать.

